

*Елена
Чижова*

*Елена
Чижова*
Город,
написанный
по памяти



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44
Ч-59

Художественное оформление переплета и макет
Владимира Мачинского

На переплете — фрагмент фотографии
Michael Hummel

Чижова, Елена Семеновна.

Ч-59 Город, написанный по памяти / Елена Чижова. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. — 315, [5] с. — (Проза Елены Чижовой).

ISBN 978-5-17-114492-0

Прозаик Елена Чижова — петербурженка в четвертом поколении; автор восьми романов, среди которых «Время женщин» (премия «Русский Букер»), «Орест и сын», «Терракотовая старуха», «Китаист». Петербург, «самый прекрасный, таинственный, мистический город России», так или иначе (местом действия или одним из героев) присутствует в каждой книге писателя.

«Город, написанный по памяти» — роман-расследование, где Петербург становится городом памяти — личной, семейной, исторической. Елена Чижова по крупицам восстанавливает захватывающую историю своей семьи. Графская горничная, печной мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владелица мануфактуры и девчонка-полукровка, которая «травит романы» дворовым друзьям на чердаке, — четыре поколения, хранящие память о событиях XX века, выпавших на долю ленинградцев: Гражданская война, репрессии 1930-х годов, блокада, эвакуация, тяжелое послевоенное время.

УДК 821.161.1-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114492-0

© Чижова Е.С.
© ООО «Издательство АСТ»

Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет
описывать свою жизнь, если он не обладает достаточным
терпением, чтобы перед тем, как наметить
вехи собственного бытия, не упомянуть, на худой конец,
хоть половину своих дедов и бабок.

Гюнтер Грасс. «Жестяной барабан»

С истиной спорить можно. С памятью — нет.

*Из фрагментов рукописи,
не вошедших в основной текст*

Раньше я знала, *она* бывает. В сказке — про царевну, про мальчика-с-пальчика, в яйце, в ларце, в сундуке, под златом, над которым *кощейбессмертный* чахнет. Или в слове, если скажут: умер, и лицо говорящего затуманится как зеркало, когда на него надышишь.

Однажды, проснувшись среди ночи, я осознала: она есть.

Там, за ширмой, отгораживающей мою кровать от комнаты.

Она — ничто. Не похожа ни на что, у нее ни знака ни образа, ни рук ни ног, ни глаз, которыми она на меня смотрит, ни ушей, которыми она слышит.

Но она стоит.

Замерев — на кончике иглы, в яйце немного безъязыкого страха, — я ждала: сейчас она сдвинет створку, и теплая темнота моей жизни обернется крошечной тьмой.

Я и теперь не знаю, что заставило ее дрогнуть, но она дрогнула, замутнилась, точно хрусталик под старческой

катарактой, напоследок дав мне понять: ужас не в том, что я исчезну, а в том, что растворюсь. Позабуду себя, родителей, бабушку...

Так осознал смерть древний человек — душа без остатка растворяется в тотеме, совокупной душе его рода-племени. Много лет спустя я прочту об этом в книге, обнаруженной в чьей-то домашней библиотеке. Но той ночью — вглядываясь во тьму широко открытыми, остановившимися глазами, — я задумала ее посрамить.

С этих пор — со страстью, с какой средневековые скупцы копили свои динарии, гроши и талеры, — я собирала слитки памяти, стараясь запомнить все, что видела и слышала. То, что, в отличие от звонких монет, они не имеют свободного хождения, меня несколько не смущало. Я и не собиралась пускать их в оборот. Мне хватало и моих сундуков, чтобы, время от времени запуская в них пальцы, убеждаться: они, мои слитки, здесь.

Пройдет немало лет прежде чем, решившись их отчеканить, я пойму, что наряду с благородным металлом в них присутствует неустраняемая примесь моей и чужой беспамятности, опасливой недоговоренности, а то и преднамеренной, хотя и объяснимой, лжи.

Пойму, но не смирюсь.

Смерть — беспамятство. Чем глубже становится моя память, тем мутнее я вижу смерть. Похоже, я имею дело с ее заместителями. Порой она видится мне долгожданным отдыхом. Иногда — сном. Временами во мне крепнет надежда на посмертную встречу с теми, кто ушел прежде меня...

Но все эти взрослые соображения меркнут перед лицом настоящей смерти, чью близость я однажды пережила.

Смерть, где твое жало?

Год за годом задаваясь этим неотвратимо-мучительным вопросом, я оглядывалась по сторонам, пока не дога-

далась: оно здесь — в моей бедной, в моей загубленной стране.

В моем прекрасном, в моем несчастном городе. В моей семье.

Так сложилось ходом истории — общей, семейной, личной.

За этим триединством мерещится отсылка к трем аристотелевым правилам. В сущности, мнимая. Из трех классических единств на долю моего города осталось два: места и действия — эта трагическая пьеса имеет один главный сюжет. Что касается времени, его течение столько раз нарушалось, что ни о каком единстве и говорить не приходится.

Разве что в тех, впрочем, нередких случаях, когда события чьей-нибудь жизни наводят на мысль о повторении — того, что было прервано. А поскольку прерванного не восстановишь, остается только надеяться, что от прошлого — теней, лежащих на моей жизни, — я сумею как-нибудь отделаться. Одним словом, избыть.

Другой вопрос: как?

Однажды, путешествуя по Италии, я наткнулась на римскую крепость, разрушенную еще в древности, но в наши дни поднятую из руин. Эти подлинные руины-обломки реставраторы не заложили камнями — напротив, окружили их новой кладкой.

Обломки, на которые я могу *положиться*: несколько семейных фотографий; бабушкины слова, застрявшие в моей детской памяти; мамины рассказы — года три назад я записала их на пленку. Если не считать нескольких непреложных условий, образующих канву прошедшего века: революция, советская власть, война, блокада, — у меня больше ничего под рукой.

Все остальное — новодел. Плод разгулявшегося воображения и более-менее вольных интерпретаций. Окажись

на этом месте любой из моих родственников, наша семейная история могла бы предстать иной.

Не знаю, насколько меня это оправдывает. Скорее, не оправдывает вовсе. Пусть хотя бы послужит объяснением того, на что я потратила свою единственную, теперь уже иссякающую, жизнь.

Те, кто идут за мною, будут и мудрее, и дальновиднее. Я за них рада. И вправду, сколько можно кружить, вглядываясь в прошлое. Пора, пора отрясти его прах и двинуться дальше, строя новую жизнь без оглядки на то, чего давно нет. А быть может, и не было...

Например, войны — не той, о которой можно прочесть в любом учебнике истории: готовясь к очередному экзамену, освежить в памяти ее даты. Речь о другой войне, чью историю, вопреки расхожему мнению, пишут побежденные.

Победители не пишут, а творят; а потом слагают о ней мифы.

Но дело не только в лживых мифах (в конце концов, на то и существует историческая память — если понимать ее не как мешок, набитый опорками стоптанного прошлого), а в том, что и нам, побежденным, случается впасть в соблазн: возомнить себя победителями. Надеюсь, меня он не коснется. А с другой стороны, чем только черт не шутит — особенно здешний черт.

Именно на этот случай: пока я — на пустом месте — не возомнила себя победителем, я обязана сделать важную оговорку: единственное, за что я по совести могу поручиться, — ширма, за которой *что-то* стоит.

Глава первая

I

Город, где я встретила смерть, назывался Ленинград. Мне приходится делать над собой усилие, чтобы за этим названием расслышать имя Ленина, о существовании которого я узнала, когда имя города уже занимало отдельную клеточку моей памяти: сквозь ее прочную мембрану вождь мирового пролетариата так и не сумел просочиться. *Городленина* — привычное советское сочетание — осталось для меня посторонним звуком. На вопрос, где я родилась, я отвечаю: на Театральной площади. Что, строго говоря, не так.

На самом деле — на улице Маяковского в знаменитой Снегиревке. Причем незаконно. Или, скажем, противозаконно. Короче, я не имела права являться на свет. Дело в том, что мама болела туберкулезом (тогда его именовали противным мушиным словом: *тэбэце*). Но мушиным оно слышится мне. А в те годы оно звучало страшно. Как для нас, положим, онкология и другие смертельные болез-

ни, от которых, в принципе, вылечиться можно, и все-таки каждое выздоровление — чудо.

Теперь, когда эта зараза не то чтобы побеждена, но по меньшей мере знает свое место, известно, что ее широчайшая распространенность была связана со скудным питанием, худой одеждой и обувью, теснотой и перенаселенностью коммуналок, а также общим уровнем фармакологии, когда в отсутствие эффективных лекарств туберкулезные больные пользовались экзотическими паллиативами, самый желанный из которых — барсучий жир. Считалось, что, принимая его перорально, можно «залить каверны». К этим экзотическим средствам маме прибегнуть не пришлось.

Спасло ее то, что первая — «открытая» — стадия заболевания совпала с появлением в советских больницах чудодейственного средства. Пенициллин. В сочетании с пневмотораксом плевральной полости, а говоря по-простому — поддуванием (эту во всех отношениях неприятную процедуру Томас Манн романтически описал в романе «Волшебная гора»), пенициллиновые инъекции давали поразительные результаты: в мамином случае каверны затянулись буквально месяца за три.

Во всем остальном эта история дает мало поводов для сравнения с «волшебной горой». Тут у нас свои *горы и горки*. Одна из них та, что года за два до болезни и примерно за год до знакомства с моим отцом мама успела выскокить замуж за некоего «Зарубаева». Беру его в кавычки потому, что мое отношение к этому (к счастью, третьестепенному) персонажу нашей семейной истории зиждется на одной весьма колоритной сценке: когда мама, говоря прямо, умирала, этот тип явился в больничную палату в компании неведомой шалавы, чтобы задать ей прямой вопрос: когда ты наконец сдохнешь? (Специально для любителей подобных вопросов: Бог — хоть верь в Него, хоть нет, — внимательно отслеживает такого рода инвективы,

при случае посылая их авторам *обратку*. Здесь я замолкаю, чтобы, в общих чертах зная дальнейшее течение событий, не впасть в рассуждения, не слишком благочестивые с точки зрения общепринятой морали. Тем более что тело со следами насильственной смерти, найденное в глубокой Сиверской канаве, говорит само за себя.)

В продолжение этой сценки мама лежала лицом к стене. Но вопреки пожеланию Зарубаева (тогда — официального супруга) не сдохла, а наоборот выздоровела. Точнее, ее болезнь перешла в «закрытую» фазу, безопасную для всех, кроме самого больного и, сильно забегая вперед, будущей меня.

До болезни мама работала кассиршей в угловой булочной на Театральной площади, что, в сравнении с прежними записями в ее трудовой книжке, можно назвать карьерным достижением, поскольку начинала она продавцом. Не знаю, как обстоит с этим в наши дни, но в начале пятидесятых к «учебе на продавца» подходили серьезно. Прежде чем встать за прилавок, полагалось пройти годичное обучение на специальных курсах, носивших гордое название «Школа торгового ученичества» — на мой вкус отдающее легким безумием. Равно как и перечень предметов на ее «Молочно-мясном и колбасном факультете»: ладно бы всякие мясо-молочно-колбасные премудрости, но за каким чертом мучить торговое ученичество историей КПСС и политэкономией?..

— Как за каким?! — я слышу голоса возмущенных методистов. — За тем самым. — С коим мама познакомилась еще в седьмом классе, получив от него предложение, от которого не то что в те — даже в мои школьные годы было не принято отказываться. Но меня, знающую мамин характер, изумляет не столько сам отказ (кстати, не основанный на каких-нибудь более или менее антисоветских принципах, а так, *нипочему*, будто что-то внутри, в крови, не дает согласия), сколько формулировка, предвосхитив-